

МЭГИ ТЕНАЧЕ

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

Подарок цыганки

Мэги Теначе

Вторая жизнь. Подарок цыганки

«Автор»

2026

Теначе М.

Вторая жизнь. Подарок цыганки / М. Теначе — «Автор», 2026

Чикаго, 1895 год. Веронике Лэнгли почти тридцать. У неё особняк на Лейк-Шор-драйв и состояние, нажитое на бирже. Нажитое на чужом горе: за её успехом стоят разорённые семьи, проданные дома, люди, которые доверили ей последнее. Мужчина, которого она любила, застрелен в собственном доме, и виновата в этом она. Когда один из обманутых приходит к ней с армейским револьвером, Вероника даже не зовёт на помощь. Умирая, она сжимает в окровавленной ладони гранатовый кулон. Цыганка обещала: омой амулет своей кровью, и получишь второй шанс. Вероника открывает глаза в Огайо, в 1880 году. Ей снова тринадцать. Мама жива, папа жив. Через неделю их убьют. «Ты теперь должна всех спасти, кого погубила». Она помнит всё: кто придёт той ночью, кто предаст, кто был добр к сироте и кого она когда-то не уберегла. Теперь нужно всех спасти, начать с родителей. Только кого просить о помощи? Кто поверит девочке? Роман о второй жизни, о мести и милосердии и о любви, которую придётся заслужить заново.

© Теначе М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Выстрел	5
Пролог. Кулон	8
Глава 1. Сегодня ярмарка	10
Глава 1. Завтрак на террасе	12
Глава 1. Ярмарка штата	14
Глава 1. Мирела	16
Глава 1. Обморок	18
Глава 1. Они живы	19
Глава 2. Кровавая ночь	21
Глава 2. Утро. Расспросы	24
Глава 2. Город. Том. Слежка	27
Глава 2. Могилы	30
Глава 2. Вещий сон. Том у О'Рурка	32
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Мэги Теначе

Вторая жизнь. Подарок цыганки

Пролог. Выстрел

Газету горничная дважды пыталась унести, и дважды Вероника Лэнгли велела оставить её на месте. «Чикаго трибюн» четырёхдневной давности лежала на столике у окна столовой, сложенная так, чтобы заголовок был виден с хозяйского места:

ФИНАНСИСТ ЭШФОРД ЗАСТРЕЛЕН В СОБСТВЕННОМ ДОМЕ

«Вчера вечером в своём доме на Прери-авеню скончался от огнестрельной раны мистер Натаниэль Эшфорд, тридцати четырёх лет, один из видных финансистов нашего города, сын мистера Уильяма Эшфорда из Нью-Йорка. Прислуга, сбежавшая на выстрел, нашла его в кабинете уже бездыханным. Обстоятельства трагедии выясняются полицией. Родные покойного, глубоко потрясённые его безвременной кончиной, просят друзей семьи и публику отнестись с пониманием к их горю и воздержаться от визитов. Принимая во внимание обширные связи покойного, на похороны будут допущены лишь ближайшие друзья семьи».

Ниже, шрифтом помельче, сообщалось, что подозревается супруга. Дальше Ронни не читала. Она знала, как пишутся такие заметки, дальше там рассказывают сколько стоил дом, какой размер состояния, кто обедал у четы в последний четверг, и какие бумаги нашли в кабинете.

Утро было ясное. Лёд на озере сошёл неделю назад, и вода за окном лежала серая и ровная до самого края, где её уже нельзя было отличить от неба. Отсюда были видны башенки замка мистера Палмера, четыре дома вниз по Лейк-Шор-драйв. Дом Ронни купила в начале девяносто второго, когда берег к северу от Палмеров только ещё застраивали. Двадцать две комнаты, башня над углом, сад за чугунной оградой — и окна на воду. Агент, показывая гостиную, говорил о каминах итальянского мрамора; она смотрела на озеро. Вода — вот за что она заплатила тогда девяносто шесть тысяч долларов наличными.

Запертых комнат в доме не было. Паркет в бальной зале натирали воском по субботам (балов в ней так ни разу и не дали), позолоченные стулья стояли вдоль стен ровным рядом; в библиотеке с утра разводили огонь, хотя Ронни читала там только по ночам. Из стеклянной оранжереи садовник каждое утро приносил камелии и фиалки и сам расставлял их по вазам.

Такой дом не мог обойтись без прислуги, и прислуга была — четырнадцать душ на одну хозяйку, которой почти ничего не было нужно.

Завтракала Ронни в столовой, за столом орехового дерева на двадцать четыре прибора, из которых накрывали один. Лакеи в белых перчатках двигались без звука: один подливал кофе, едва чашка пустела наполовину, другой подавал сливки, а Причард стоял у буфета и следил за обоими. Двадцать четыре стула, трое прислуги и одна чашка — вот как она завтракала каждое утро. За такие деньги, прикидывала Ронни, можно было бы нанять хоть одного человека, чтобы сел напротив и сказал какую-нибудь глупость. Прежде она всерьёз подумывала о компаньонке, об учителе французского. Но уже пятый день, как это стало не важно.

На Ронни было чёрное. Платье принесли от портнихи на третий день: тяжёлый шёлк, кружево по вороту, пышные рукава, как требовала нынешняя мода. Портниха не спросила, по ком траур. Вдовой Ронни не была, невестой тоже, и носить траур по чужому мужу женщина вроде неё могла только здесь, дома, где её видели одни слуги да озеро.

Лакей двинулся было с кофейником; она отвела его рукой и встала. Над камином висело высокое зеркало в золочёной раме. «Посмотрим, — подумала Ронни, — как выглядит женщина, которая носит траур по чужому мужу». Из зеркала на неё смотрела высокая худая дама

в чёрном, с тёмно-медными волосами, уложенными слишком строго для утра. Серо-зелёные глаза были серьёзные, тёмные и неподвижные — в них больше не было ни любопытства, ни жизни.

— Ну что, Вероника Лэнгли, — сказала она отражению. — Двадцать восемь лет, дом на Лейк-Шор-драйв, девяносто шесть тысяч наличными. И кто же станет носить траур по тебе?

Ответ она знала и так: трое на весь свет, и двоим из них она платит жалованье.

— Нейт, — сказала она тихо. — Ну как же так-то, Нейт? Как может быть, что ты умер, а я жива? Как мне теперь жить дальше?

Женщина в зеркале молчала. Старая привычка считать не отпускала и теперь. Дом — девяносто шесть тысяч. Платье — сорок два доллара с отделкой. Нейт обошёл ей в четыре года, и этот счёт закрыть было уже некому. Если бы она не поднялась тогда к нему в кабинет, Селеста не взяла бы в руки пистолет. Ронни посмотрела на газету и подумала: «Хранить её, как письмо. Вот дура».

В дверь постучали.

— Мистер Райли, мэм, — доложил Причард. — С бумагами.

— Пусть войдёт.

Финн Райли. Двадцать два года, секретарь, рыжий вихор, который не брала никакая помада. Десять лет назад, в ту зиму, когда Ронни только поступила стенографисткой к Крейну и считала каждый цент, рыжий мальчишка в чужих башмаках на босу ногу залез к ней в сумочку на Кларк-стрит; добычи там было доллар сорок центов и карандаш. Воровал он так неумело, что Ронни поймала его за запястье, не оборачиваясь, как учил Том, и уже набрала воздуха, чтобы крикнуть полисмена. Тут она увидела у него под мышкой «Трибюн», сложенную на биржевых котировках.

— Читаю, мэм, — сказал он и шмыгнул носом. — Пшеница вчера упала на три цента.

Ронни велела прочесть вслух, тут же, на тротуаре, и он прочёл, запнувшись только на названиях железных дорог. В тот же день она упросила Крейна взять мальчишку рассылным. С тех пор Финн был при ней: бегал с её записками по Ла-Саль-стрит, зимними вечерами приносил горячие пирожки в промасленной бумаге и провожал до дому, ни о чём не спрашивая. Потом выучил стенографию по её же самоучителю Питмана и стал секретарём. Из всех её вложений это одно не принесло ни цента, и о нём одном она ни разу не пожалела. Привязана она была во всём Чикаго к нему одному. В завещании он тоже был, хотя сам об этом не знал.

Финн вошёл, сел на край стула, раскрыл папку и стал докладывать так, как она его выучила, — суммами и без прилагательных.

— Северо-Западные проданы, мэм, двести акций по сто двенадцать с четвертью. Форбс признал недостачу по овсу, четыреста двенадцать долларов, обещает вернуть к пятнице. Из конторы мистера Крейна прислали записку: он заедет в четверг насчёт облигаций конки. И ещё, — он посмотрел на её чёрное платье, — счёт от портнихи. Сорок два доллара. Я оплатил.

— Хорошо, — сказала Ронни. — Крейну напиши, что в четверг я не принимаю. И в следующий четверг тоже.

Финн поднял на неё глаза, но спросить не успел: в дверь опять постучали.

— Мистер Бриггс, мэм, — сказал Причард. — Я сказал, что вы не принимаете, а он стоит внизу и не уходит. — Он помолчал и прибавил тише: — Позволю себе заметить, мэм, вид у него нехороший.

Уолтер Бриггс. Зерно, весна девяносто третьего. Сорок одна тысяча триста долларов, склады на Саут-Уотер-стрит, дом в Гайд-парке. Жена уехала к сестре в Милуоки, когда банк забрал дом. Ронни помнила всё это до последнего доллара.

— Проводите его сюда, — сказала она.

Причард хотел что-то сказать, но не сказал. Финн потянулся собрать бумаги; Ронни взглядом велела ему сидеть.

За два года Бриггс похудел так, что сюртук, сшитый ещё при деньгах, стал ему широк в плечах. Румяное когда-то лицо посерело, на щеках темнела щетина дня в три. Котелок он держал в левой руке, правую не вынимал из кармана. Он остановился у порога и обвёл глазами комнату: длинный стол, камин, чёрное платье, озеро за окном. Ронни видела, что он считает то же, что минуту назад считала она сама.

— Мисс Лэнгли.

— Мистер Бриггс. Садитесь.

Он не сел.

— Вы помните, сколько я вам доверил?

— Сорок одну тысячу триста, — ответила Ронни. — И склады на Саут-Уотер-стрит.

Он вынул руку из кармана. Револьвер был старый, армейский, с потёртой рукояткой, — должно быть, единственное, что у него осталось и чего нельзя было заложить: за такую рухлядь в ломбарде не дали бы и трёх долларов. Ронни посмотрела на дуло, потом ему в лицо и не двинулась с места. Звать на помощь она не стала.

Выстрел в закрытой комнате оказался громче, чем она думала. Её ударило в бок и развернуло к окну, и она упала на ковёр, который успел нагреться от солнца. Под чёрным шёлком потекло горячее, и шёлк сразу отяжелел. Бриггс стоял над ней с револьвером в опущенной руке и плакал, некрасиво, по-детски, раскрыв рот. Внизу закричала горничная Бриджет.

Финн опрокинул стул, папка с бумагами полетела на пол; он бросился на Бриггса и вывернул у него револьвер. Бриггс и не сопротивлялся.

— Доктора! — закричал Финн в распахнутую дверь, на весь дом. — Причард, доктора, скорее! И полицию!

Она лежала на ковре и знала: всё. Вот, значит, как это кончается. И это было хорошо. И тут ей невольно вспомнилось, слово в слово, что сказала ей месяц назад цыганка в таборе за насыпью:

«Убьют тебя заслуженно, и крови много будет».

Пролог. Кулон

Месяц назад, в марте, Ронни возвращалась от маклера Форбса короткой дорогой, через пустыри у железнодорожной насыпи. Смеркалось, моросило, и в окне кареты тянулись одни заборы да чёрные кучи угля. Она думала о пшенице на май и не смотрела по сторонам, пока у глухой стены сарая не мелькнуло что-то красное, слишком яркое для этого места: юбка, подол которой волочился по грязи.

Ронни постучала кучеру в стенку. Карета встала.

Мужчин было двое. Один, в рабочей куртке, держал девочку поперёк туловища и тащил к двери сарая, второй шёл сзади и посмеивался. Девочка не кричала. Она упиралась босыми ногами в мёрзлую землю, и ноги скользили, оставляя в грязи две длинные борозды. Волосы у неё были чёрные, спутанные, в ушах блестели медные кольца, на шее висела нитка монет. Цыганёнок из табора за насыпью — так сказал бы любой, кто проезжал здесь до Ронни и не остановился.

Ронни знала эту хватку. В приюте воспитательница, миссис Хаббард, брала её так же, поперёк, когда тащила в подвал, порола за каждую незначительную провинность и держала за запястье так, что синяки от пальцев сходили неделю, и кричать было так же бесполезно: никто не придёт, а кто придёт, тот отвернётся. Скулила она тогда только в первый раз, от неожиданности. Пальцы у неё стали холодными, и она уже открывала дверцу.

— Мисс, не надо, мисс! — крикнул с козел кучер.

На земле у забора валялся обломок жерди. Ронни подняла его, не думая. Том учил её когда-то в Коламбусе, на задворках у реки: «Сначала по рукам, детка. Без рук мужчина ничего не держит». Она ударила того, в рабочей куртке, по локтю, со всего плеча. Он охнул и разжал руки. Девочка упала в грязь. Второй шагнул к Ронни, и она ткнула его концом жерди в живот, а когда он согнулся, ударила ещё раз, по шее. Шляпка съехала ей на глаз, перчатка лопнула по шву.

— Ты что, сдурела?! — заорал первый, держась за локоть. — Это ж цыганское отродье!

— Это ребёнок, — сказала Ронни и сама удивилась своему голосу: таким голосом она не говорила уже лет десять. — Ещё шаг, и я сломаю тебе вторую руку. А мой кучер запомнит твоё лицо для полиции.

Кучер на козлах побледнел, но поднял кнут. Мужчины переглянулись. Тот, что держался за живот, сплюнул, и они пошли прочь вдоль забора, оглядываясь и ругаясь.

Девочка сидела в грязи и смотрела на Ронни снизу вверх. Глаза у неё были огромные, чёрные и совершенно сухие. Ронни присела перед ней, не заботясь о юбке.

— Ну, — сказала она. — Всё. Они ушли.

Девочка молчала. Ронни взяла её за руку, и рука оказалась ледяной, тонкой, с цыпками на костяшках. Она подняла девочку и втащила в карету. Там, на бархатном сиденье, в тепле, под стук колёс, девочка вдруг сморщилась вся, от подбородка до лба, и зарыдала, громко, взхлёб, вцепившись Ронни в рукав обеими руками. Ронни обняла её, и мокрая чёрная голова уткнулась ей в шею. От волос пахло дымом.

— Как тебя зовут?

— Ро... Роза.

— Где твоя мать, Роза?

Девочка махнула рукой назад, за насыпь, и опять зашлась плачем. Ронни держала её и смотрела в окно на заборы. Почти в пятнадцать, сбежав из приюта, она тоже сидела вот так, обнявшись, в чужом дворе на ящике из-под пива — только тогда плакала она, а Том гладил её по голове. «Господи, — подумала она, — я становлюсь сентиментальной».

Табор стоял за насыпью: три фургона, костёр, тощие лошади. Мать вышла к карете первой, с непокрытой головой. Седая прядь в чёрных косах, в косах звенели монеты. Она не закричала и не заплакала, только протянула руки, и Роза выскочила к ней из кареты. Мать прижала дочь к себе, долго гладила её по голове и что-то шептала на своём языке. Потом подняла глаза на Ронни, на её лопнувшую перчатку, на грязный подол дорогого платья, и взяла её за руку. Повернула ладонью кверху и долго на неё смотрела.

— Я Мирела, — сказала она, не выпуская её руки. — Розу мою ты спасла, теперь слушай.

— Вижу, что умрёшь ты скоро, и плохо, — сказала она. — Убьют тебя заслуженно, и крови много будет. Но душа у тебя хорошая, только искореженная. — Она сняла с шеи кулон на тонкой цепочке и вложила Ронни в ладонь. — Вот амулет, не снимай. Если будет всё плохо и умирать будешь — омой его своей кровью, и второй шанс получишь.

Ронни тогда прикинула: серебро дешёвое, гранат богемский, долларов семь, от силы восемь. Почему она не сняла его за целый месяц, она объяснить себе не могла.

Пальцы скользили, но цепочка нашлась под кружевом воротника, и Ронни вытянула кулон наружу. Тёмно-красный камень лёг в мокрую ладонь и почти пропал: кровь и гранат были одного цвета.

Финн стоял перед ней на коленях, прямо в крови, прижимал к её боку свой платок, уже насквозь красный, и повторял: «Мисс Лэнгли, мисс Лэнгли, сейчас доктор...» Веснушки на его побелевшем лице проступили все до одной. Ронни хотела сказать, чтобы не пачкал брюки, — костюм новый, тридцать два доллара у Филда, — но сказала другое:

— Бумаги в несгораемом шкафу, Финн. Ты знаешь где. И не сиди так, тебе ещё их разбирать.

Он кивнул и заплакал.

«Второй шанс. На что он мне теперь, Нейт?»

Она сжала кулон в кулаке, в своей крови, так крепко, что серебро врезалось в кожу. Озеро в окне сделалось белым от солнца, потом погасло, и стало темно.

Глава 1. Сегодня ярмарка

Ники проснулась у себя в постели, мокрая от пота, с пересохшим ртом. Минуту назад случилось что-то страшное — это она знала наверняка, а что именно, вспомнить не могла. В памяти осталась только кровь, тёплая и липкая, и кулон у неё в руке: красный камень в серебре, весь в крови, так что не разобрать было, где кончается камень и где начинается кровь. Да ещё безнадёжность: поправить уже ничего нельзя и звать некого. Она лежала не шевелясь, вцепившись в край простыни, и ждала, что страшное сейчас вернётся. Оно не возвращалось. За окном, в сирени, сварливо закричала сойка — она бранилась с воробьями каждое утро, — и от этого обыкновенного крика Ники наконец вздохнула и огляделась.

«Стоп, — сказала она себе. — Я Вероника Лэнгли, мне тринадцать лет, я у себя дома, и мне просто приснился плохой сон».

Над ней был белый потолок с лепной розеткой посередине, из которой ничего не свисало: газовый рожок отец велел провести к туалетному столику, а не к кровати, чтобы дочь не читала лёжа и не портила глаза. Сквозь кисейные занавески, которые Нора, её горничная, с вечера всегда задёргивала неплотно, в комнату ложились косые полосы раннего солнца, и в них медленно кружила золотая пыль. Обои с мелкими голубыми незабудками Ники выбирала сама, в десять лет, и теперь их немного стыдилась: незабудки были для маленьких. На комод из орехового дерева стояли шкатулка с музыкой, фарфоровая собачка с отбитым ухом и две куклы в шёлковых платьях, сидевшие рядом. Пахло лавандой из саше, разложенных по ящикам, а из приоткрытой фрамуги тянуло рекой: мокрой травой, илом и холодной утренней водой Олентанги, которая в этот час ещё дымилась у берега.

Рубашка прилипла к спине, коса растрепалась и намочила у висков. Ники полежала ещё немного, глядя, как дрожит на потолке солнечный зайчик от графина на умывальнике. Страшное отступало понемногу; сначала пропала кровь, потом кулон, и под конец осталось одно: будто она забыла сделать что-то важное, а что — никак не вспомнить. «Забыла, — подумала Ники. — Что же я забыла?»

«Глупости», — подумала Ники, села в постели и вспомнила, какой сегодня день.

Сегодня была ярмарка. На ярмарку штата Огайо съезжались фермеры со всех округов, со своими быками, свиньями, тыквами и банками варенья; играл духовой оркестр, показывали новые жнейки и паровые молотилки, продавали лимонад со льдом и жареные орехи в бумажных кулках, а в прошлом году, как уверяла Нора, водили живого медведя, который пил пиво из бутылки. Мама обещала взять её с собой ещё в июле, в самую жару, когда Ники две недели пролежала с простудой и капризничала. С тех пор Ники считала дни, и вот считать стало нечего.

Новое платье висело на спинке стула, куда Нора повесила его вечером, чтобы не помялось: голубое, в тонкую белую полоску, с широким поясом из шёлковой ленты, которую завязывают сзади большим бантом. Под стулом стояли ботинки на пуговицах, начищенные так, что в носках отражалось окно, а на сиденье лежала соломенная шляпа с венком из матерчатых васильков. Ники спустила босые ноги на лоскутный коврик и засмеялась вслух оттого, что пол был тёплый от солнца, платье новое, а до девяти, когда велено подавать коляску, оставалось ещё целых два часа.

В дверь стукнули дважды, и, не дожидаясь ответа, вошла Нора, боком, потому что в одной руке у неё был медный кувшин с горячей водой, а в другой стопка свежих полотенец. Нора служила у Лэнгли третий год, приехала из графства Корк с одним сундучком и молитвенником, была широка в кости, румяна, говорила быстро и с таким выговором, что Ники первое время понимала её через слово, а теперь сама, забывшись, начинала растягивать гласные на ирландский манер, чем приводила маму в тихий ужас.

— Проснулась, соня! — сказала Нора и вылила кипяток в фаянсовый таз на умывальнике, так что пар поднялся до самого зеркала. — Матушка ваша уже на террасе, кофий пьют, а мистер Лэнгли велел Джозефу запрягать гнедых к девяти, и ни минутой позже, сказал, а то, говорит, у ворот такая давка будет, что до коров к обеду не доберёмся. Умывайтесь-ка, мисс Ники, да поживее, я вам волосы разберу.

Ники умылась тёплой водой с розовым мылом, от которого щипало глаза, и села к туалетному столику. Нора встала у неё за спиной и принялась распускать ночную косу, ворча, что за ночь всё сбилось в колтун, словно мисс не спала, а бегала по лугу. Щётка ходила по волосам ровно и сильно, сто раз, как полагалось, Нора считала вполголоса, сбиваясь и начиная сначала, и Ники смотрела в зеркало.

Из зеркала на неё смотрела девочка тринадцати лет с припухшими от сна веками, с белой полоской пробора и с упрямым подбородком, про который папа говорил, что это подбородок всех Лэнгли и что с ним ещё намучаются женихи. Обычная девочка в ночной рубашке с оборками. И всё же на одно мгновение, пока Нора отводила щётку, Ники показалось, что из этого зеркала на неё должна смотреть совсем другая женщина, взрослая и худая, с чужими, усталыми глазами, и она даже подалась вперёд, чтобы разглядеть, кто там. Там была только она сама.

— Сидите смирно, — сказала Нора и легонько дёрнула прядь. — Не то заплету вкривь, и все скажут, что у Лэнгли горничная криворукая.

Ники засмеялась, и та, другая, исчезла из зеркала, если и была. Нора заплела ей волосы в одну косу, перевязала голубой лентой, помогла надеть новое платье, затянула пояс тугим бантом, отступила на шаг и оглядела её с головы до ног. «Ну, картинка, — сказала она. — Хоть сейчас к губернатору на чай». Снизу уже пахло кофе и жареным беконом, звякали чашки, и с террасы долетел смех отца, низкий, раскатистый. Пока папа так смеялся, ничего плохого случиться не могло.

Она схватила шляпу и побежала вниз, перепрыгивая через ступеньку, хотя мама сто раз говорила, что юные леди так по лестницам не бегают.

Глава 1. Завтрак на террасе

Терраса выходила на восток, и по утрам солнце заливало её целиком, от белых деревянных колонн, увитых диким виноградом, до широких ступеней, сбегавших прямо в траву. Лужайка полого спускалась к реке, только что скошенная, и пахла сеном и росой; у самой воды стояли старые ивы, опустив ветви в течение, а левее, за кустами шиповника, блестел пруд, где жили утки и где Ники лет в семь едва не утонула, погнавшись за утёнком. Над Олентанги ещё лежал туман, белый и рыхлый, но он таял на глазах, и из него понемногу проступал другой берег, с кукурузным полем и красной крышей фермы. Там паслись чьи-то коровы, и звон колокольчика доносился через воду так ясно, что Ники всякий раз оглядывалась на ступени.

Летом, пока не начинались холода, завтракали на террасе. Стол был накрыт белой скатертью, на ней стоял синий с белым фаянс, который бабушка Лэнгли привезла когда-то из Филадельфии, и серебряный кофейник с длинным изогнутым носиком. Под серебряными колпаками дымились ветчина и яичница, горячее печенье лежало в корзинке, укутанное салфеткой, чтобы не остыло, рядом стояли кукурузные лепёшки и кувшинчик с кленовым сиропом, а посередине, в хрустальной вазе, горкой лежали персики из своего сада, мохнатые, с красным бочком, и возле них молочник со сливками, такими густыми, что их приходилось выкладывать ложкой. Нора вынесла из кухни ещё одну тарелку печенья, и из открытой двери вслед за ней на террасу вылетел сердитый голос кухарки, которая никак не могла поделить плиту с поварёнком.

Мама уже сидела за столом спиной к солнцу, в светлом утреннем платье с узкой кружевной оборкой у ворота. Светлые волосы у неё были подколоты по-домашнему, без затей. Она была такая тонкая и изящная, той самой породы, которую называют аристократической, что Ники втайне ей немного завидовала: сама она пошла совсем не в маму. Ей всё время хотелось быть чуть тоньше, чуть изящнее, чуть грациознее, но пока у неё это не очень получалось. По вечерам, когда мама садилась за фортепиано в гостиной, Ники казалось, что музыка идёт прямо из маминых тонких пальцев. Ники обожала эти вечера.

— Доброе утро, Вероника, — сказала мама негромко. Так называла её только она, полным именем, и выходило это у неё по-особенному, мягко, будто имя было шёлковым. — Ты опять бежала по лестнице. Я слышала каждую ступеньку.

— Через одну, — честно сказала Ники и поцеловала её в щёку. От мамы пахло фиалковым мылом и кофе.

— Через одну, — повторила мама и покачала головой, но глаза у неё смеялись. — Сядь прямо, дорогая. И положи салфетку на колени, а не на стол.

Папа стоял у перил, в светлом летнем сюртуке, с очками на кончике носа, и просматривал газету и стопку писем, которые Джозеф утром привёз с почты. Был он высокий, широкий в плечах, с седеющими бакенбардами, которые мама находила старомодными и которые он ни за что не соглашался сбрить. Увидев дочь, он сдвинул очки на лоб и раскрыл объятия, и Ники влетела в них, как влетала всегда, с разбегу, так что он охнул и засмеялся.

— Вот она, наша ярмарочная барышня! Луиза, посмотри на неё: в полоску, с бантом, хоть сейчас на выставку. Боюсь, её купят вместе с призовыми тыквами.

— Чарльз, — сказала мама.

— А я, между прочим, тоже кое-что собираюсь купить, — продолжал папа, садясь к столу и разворачивая газету на нужной странице. — Вот, слушайте: «Мистер Хендерсон из Лексингтона, штат Кентукки, выставит на ярмарке четырёх рысаков лучшей крови». Четырёх, Луиза! Я возьму пару. Гнедые наши хороши для коляски, но в упряжке им лет по сто на двоих, и Джозеф, если хочешь знать, давно на меня обижается.

— У нас в конюшне шесть лошадей, — заметила мама, наливая ему кофе.

— Шесть лошадей и ни одного рысака, дорогая. Это, согласишься, почти неприлично для семьи с нашим положением.

— Это очень прилично для семьи, которая не играет на скачках.

Папа расхохотался, и мама тоже улыбнулась, опустив глаза в чашку. Договорились так: в павильоны мама и Ники пойдут вдвоём, а папа отправится к конюшням смотреть кентуккийских рысаков, и к полудню они встретятся у конного павильона, а оттуда все вместе пойдут обедать в большую палатку, где, по словам папы, подавали лучшую жареную курицу во всём штате Огайо.

Между ветчиной и вторым кофе папа распечатал одно из писем, пробежал его глазами и поднял брови.

— Фрэнк Деланси, — сказал он. — Просит принять его на будущей неделе. Пишет, что дело серьёзное и не терпит отлагательств.

— Опять какое-нибудь предприятие? — спросила мама. — Серебряные рудники в Колорадо?

— Скорее, опять попросит займы. — Папа сложил письмо вчетверо и сунул в карман сюртука. — Ну да ладно, Фрэнк есть Фрэнк. Напишу ему, пусть приезжает, когда ему удобно. Он хоть и пустой человек, а без него в доме скучно, да и твой яблочный пирог он хвалит так, что слушать приятно.

Ники не слушала. Она выбирала персик, самый спелый, тот, что лежал на верхушке горки и был красный почти целиком, и, когда надкусила его, сок потёк по подбородку и по пальцам, тёплый от солнца и такой сладкий, что она зажмурилась. Мама молча подала ей салфетку.

— Вероника, — сказала она. — Леди не облизывают пальцы.

— Коляска подана, сэр, — объявил с нижней ступеньки Джозеф, держа под уздцы гнедых, которые нетерпеливо переступали и встряхивали головами, отгоняя мух.

Глава 1. Ярмарка штата

До города ехали полчаса. Дорога шла вдоль Олентанги, мимо кукурузных полей и белых ферм с красными амбарами, и чем ближе к Коламбусу, тем теснее становилось на ней от фургонов. Фермеры ехали к ярмарке целыми семьями, с жёнами в ситцевых капорах и с детьми, сидевшими на мешках. Фургоны, серые от пыли проселочных дорог, скрипели на каждом ухабе; из-под сидений торчали тыквы и корзины, прикрытые мешковиной, а за одним фургоном, привязанный за рога, шёл рыжий бык с бумажной розеткой на лбу. Джозеф сидел на козлах прямо и гнедых не торопил. Папа купил у мальчишки на мосту ярмарочную афишу за два цента и читал её вслух, от скачек до выставки кур, и сам с собой спорил, на какой день назначены бега рысаков. Мама держала над Ники зонтик и время от времени поправляла ей шляпу, которую сдувало ветром.

— Сиди смирно, дорогая, — говорила она негромко. — Ярмарка от нас не убежит.

Ярмарочное поле лежало за восточной окраиной города, там, где кончались последние дома Брод-стрит. У ворот, как и обещал папа, была давка. Коляски, двуколки и фермерские фургоны стояли вдоль ограды в три ряда, лошади мотали головами в торбах с овсом, и Джозеф долго искал, куда поставить гнедых, ругаясь вполголоса, чтобы не слышала миссис Лэнгли. Двадцать пять центов со взрослого и пятнадцать с ребёнка — столько стоил вход. Ники сложила: за троих шестьдесят пять. Папа отсчитал их серебром, и кассир в нарукавниках оторвал ему три билета с картинкой: плуг со снопом пшеницы и надпись «Штат Огайо».

У ворот они расстались. Папа поцеловал маме руку, а Ники ущипнул за щёку.

— К полудню у конного павильона, — сказал он. — Если меня там не окажется, значит, мистер Хендерсон меня уже уговорил, и ищите меня у кассы.

— Чарльз, — сказала мама. — Одну пару.

— Одну пару, — повторил папа так честно, что мама засмеялась.

Его соломенную шляпу ещё долго было видно над толпой, пока она не пропала за флагами.

Вдвоём они пошли по главной аллее. По обе стороны тянулись павильоны из некрашенных досок, с флагами на коньках крыш, а посередине поля, на деревянном помосте, играл духовой оркестр в синих мундирах. Пахло жареными орехами и горячим сахаром, свежими опилками, которыми посыпали аллеи, и навозом из скотных рядов. Над всем этим, над крышами и флагами, висела золотистая пыль, поднятая тысячами ног, и Ники шла по ярмарке, глядя во все глаза. Народу было столько, что Ники толкали локтями фермеры в праздничных сюртуках, тесных в плечах, и задевали корзинами их жёны. Какой-то мальчишка с леденцом наступил ей на новый ботинок. Мама держала её за руку крепко. Ники шла в ногу под медные трубы оркестра, а у лотка с жареными орехами остановилась как вкопанная, и маме пришлось тянуть её дальше.

Сначала пошли к скоту: так хотела Ники. В длинном сарае с распахнутыми воротами стояли быки, каждый в своём стойле, вымытые, с начищенными рогами. Над стойлами висели дощечки: порода, имя, владелец, округ. Шортгорнский бык мистера Пирса из округа Пикауэй весил, если верить дощечке, две тысячи сто фунтов, и на шее у него висела синяя лента первого приза. Он стоял неподвижно, с закрытыми глазами, и только хвост у него ходил из стороны в сторону, отгоняя мух. Хозяин сидел рядом на перевёрнутом ведре и рассказывал всем, кто останавливался, сколько он ему скормил кукурузы.

— Не подходи близко, Вероника, — сказала мама. — И не трогай его, ради бога.

— Он спит, мама.

— Тем более, — сказала мама и отвела её за руку на шаг от стойла.

Дальше, в павильоне садоводства и рукоделия, на длинных столах лежали тыквы, такие тяжёлые, что их вносили вдвоём, и кукурузные початки, связанные в снопы. Рядом лежали яблоки семи сортов и стёганные одеяла с ярлычками: «Миссис Абигайль Уорд, Делавэр. Узор „Звезда Вифлеема“». Ники долго разглядывала одеяло из тысячи лоскутков и пыталась сосчитать звёзды. Мама остановилась у банок с вареньем и ревниво сравнила их с вареньем своей кухарки, а потом сказала, что персиковое у них лучше, только кухарка никогда не повезёт его на ярмарку из гордости. На полке у окна стояли банки смородинового желе, и солнце просвечивало их насквозь, тёмно-красные. Ники посмотрела на них и отвела глаза. Ей опять вспомнилось утро: кровь, тёплая и липкая, и камень в руке. «Глупости, — подумала она. — Это желе». Но к окну больше не подходила.

В машинном павильоне было шумно и жарко. Жнейки «Маккормик» стояли рядами, выкрашенные в красное и зелёное, с золотыми буквами на боках. Около каждой стоял агент в жилете и бойко объяснял фермерам, во сколько обходится машина в рассрочку и сколько акров она уберёт за день. Паровая молотилка стучала и пыхтела на холостом ходу, и вокруг неё стояла толпа мальчишек. Когда машинист дал свисток, Ники вздрогнула всем телом и вцепилась маме в руку. Мама посмотрела на неё с удивлением.

— Ты что, дорогая? Это всего лишь свисток.

— Я знаю, — сказала Ники и засмеялась, но маминой руки не отпустила.

Лимонад продавали под полотняным навесом, у большой бочки, обложенной льдом. Стокан стоил пять центов. Мама заплатила десять, и Ники выпила свой в три глотка, так что от холода заломило зубы.

— Вероника, — сказала мама. — Леди не пьют залпом.

— Леди не бывают на ярмарке в такую жару, — ответила Ники и сама испугалась своей дерзости.

Но мама только рассмеялась, тихо, прикрыв рот перчаткой, и оглянулась, не слышал ли кто. Она поправила Ники бант на поясе, смахнула с её плеча опилку и сказала, что дочь у неё дерзкая, как все Лэнгли, и что в этом, к сожалению, виноват папа. Потом достала из ридикюля маленькие часы с эмалевой крышкой. Было без четверти двенадцать.

— Пойдём к лошадям, — сказала она. — Папа будет ждать, а он без нас непременно купит две пары.

Конные ряды начинались за машинным павильоном и тянулись до самого края поля, туда, где за коновязями кончались павильоны. Дальше была только трава, вытопанная до земли, и несколько пёстрых фургонов в тени старых вязов.

Глава 1. Мирела

Возле фургонов былолюдно и шумно. Здесь продавали лошадей. Смуглые мужчины в ярких жилетах и с серебряными пуговицами водили на поводу коней перед фермерами, хлопали их по крупу и, задрав коню губу, выкрикивали цену. Фермеры качали головами и отходили, чтобы через минуту вернуться. Один барышник, низенький, с серьгой в ухе, пустил серую кобылу рысью по кругу и бежал рядом, держась за гриву. Он кричал, что кобыла не хромает и никогда не хромала, а кто скажет иное, тот пусть плюнет ему в глаза. Фермеры гоготали над ним, точно попали в балаган. Пахло конским потом и дымом: за фургонами на костре стоял котёл с мясом, и девочка лет десяти, босая, с монетами на шее, мешала в нём палкой.

— Это цыгане, Вероника, — сказала мама тихо и остановилась. — Пойдём кругом, по той стороне.

Мама всю жизнь боялась цыган. Когда она была маленькая, в Филадельфии, у соседей будто бы увели со двора ребёнка, и эту историю она рассказывала всякий раз, когда у реки останавливался табор. Ребёнка, по её словам, так и не нашли; Ники подозревала, что его не было вовсе, но вслух этого не говорила.

Обойти они не успели. От крайнего фургона, синего, с красными колёсами и нарисованными на дверце цветами, поднялась женщина, сидевшая на ступеньке, и пошла прямо к ним сквозь толпу. Люди расступались перед ней сами. На ней была яркая шаль, красная с жёлтым, завязанная на груди узлом, и тёмная юбка, подол которой волочился по пыли. Волосы у неё были чёрные, заплетённые в косы, и в косах звенели монеты; надо лбом белела седая прядь. На пальцах тяжело блестели кольца, по два и по три на каждом. Лицо у неё было смуглое и неподвижное — лицо женщины неопределённого возраста. Глаза тоже были чёрные и глядели пронзительно, прямо на Ники. Мать судорожно сжала руку дочери.

Цыганка остановилась в двух шагах и протянула ладонь. На ладони лежал кулон на тонкой цепочке: тёмно-красный камень в серебряной оправе. В тени он казался почти чёрным, а когда на него упало солнце, сделался красным.

— Твоё, бери, — сказала цыганка. Голос у неё был низкий, грубоватый, и говорила она без всякого выговора, как говорят в Огайо.

— Благодарю вас, нам ничего не нужно, — сказала мама быстро и вежливо, как говорила с разносчиками у ворот усадьбы. Она уже открывала ридикюль: — Вот, возьмите, пожалуйста, и пропустите нас.

Она протянула монету в полдоллара. Цыганка на монету даже не посмотрела.

Ники смотрела на кулон. Камень в серебре — она видела его утром. Он был у неё в руке, во сне, весь в крови, так что нельзя было разобрать, где кончается камень и где начинается кровь. Ники вытерла ладонь о платье. И опять, как утром, ей показалось, что она забыла сделать что-то важное, а что — никак не вспомнить. Она протянула руку и взяла кулон. Серебро было тёплое: цыганка, должно быть, долго держала его в кулаке. Девочка у котла перестала мешать и смотрела на них, держа палку на весу.

— Вероника! — сказала мама.

Цыганка подняла глаза на маму, на её перчатки и кружево у ворота, и опять посмотрела на Ники. Потом взяла её за руку, повыше запястья, крепко, и повернула её руку ладонью вверх, вместе с кулоном. Рука у неё была сухая и горячая, с твёрдыми мозолями на ладони. Долго она смотрела на эту ладонь. Ники стояла и не шевелилась. Барышники кричали по-прежнему, и на помосте за павильонами оркестр заиграл польку, а здесь, возле синего фургона, было так тихо, что Ники слышала, как звенят монеты у цыганки в косах.

— Ты теперь должна всех спасти, кого погубила, — сказала цыганка.

Она отпустила её руку, повернулась и пошла к своему фургону, не оглядываясь, и села на ту же ступеньку, и подобрала юбку, и стала смотреть на лошадей, будто ничего и не было. Монета в полдоллара так и осталась у мамы в перчатке.

— Господи помилуй, — сказала мама шёпотом. Лицо у неё побелело, только на скулах проступили два красных пятна. — Пойдём отсюда. Пойдём, Вероника, сейчас же. И брось эту вещь.

Ники не бросила. Она сжала кулон в кулаке и пошла за мамой, глядя себе под ноги. Кого это она погубила? Утёнка в пруду, за которым не угналась шесть лет назад? Фарфоровую собачку, у которой отбила ухо? «Вот ещё», — подумала Ники. Но слова цыганки так и звучали у неё в ушах. Мама шла быстро, тянула её за руку и говорила что-то про полицию, которая напрасно пускает таких людей на ярмарку штата, и про то, что папе всё это знать совершенно не обязательно. Был полдень.

Глава 1. Обморок

До машинного павильона оставалось шагов сто, когда Ники споткнулась на ровном месте. Мама тянула её за руку и говорила, не оборачиваясь, что дома ей дадут холодного чаю и уложат в тень, а папе они скажут, что у неё разболелась голова от жары. Полосатый навес над лимонадной бочкой и белая мамина перчатка закачались и пошли ходуном перед её глазами. Ники хотела сказать, что ей нехорошо, и не сказала. Земля поднялась ей навстречу, тёплая, пахнувшая опилками и конским навозом, и последнее, что она видела, была мамина рука: рука разжималась, чтобы подхватить её, и не успевала. Кулона Ники так и не выпустила.

И тут ей невольно вспомнилась эта самая ярмарка, та, на которой она уже была однажды, в такой же жаркий сентябрьский полдень, с той же мамой и в том же голубом платье в полоску. Синий фургон с красными колёсами стоял там же, под вязами; девочка с монетами на шее мешала палкой в том же котле. Цыганка с седой прядью поднялась со ступеньки и пошла к ним сквозь толпу, и люди расступались перед ней точно так же.

— Твоё, — сказала тогда цыганка и протянула на ладони тот же гранат в серебре.

Девочка, которую через несколько лет станут звать Ронни, а пока звали мисс Лэнгли, спрятала руки за спину.

— Ой, нет, это не моё, что вы, — сказала она вежливо, как учила мама.

Мама одобрительно сжала ей плечо и протянула цыганке полдоллара, которых та не взяла. Потом они пошли к лошадям; папа купил одну пару, как обещал, и за обедом в большой палатке рассказывал, как ловко он сбил цену у мистера Хендерсона. Курица и вправду оказалась лучшей во всём штате Огайо. Так прошёл тот день. Через неделю папы и мамы не стало.

А потом ей вспомнилась вся та, прошлая жизнь, разом и без всякого порядка: та ночь и убийство папы и мамы, Том, а потом Нейт. Всё это закрутилось в ней, как стёклышки в калейдоскопе, и она не могла остановить ни одно из них.

Где-то очень далеко, мама закричала: «Вероника!» — и кто-то басом велел дать девочке воздуху. Ники слышала это и не могла ответить. К ней наклонились чужие лица, от которых пахло табаком и пивом, кто-то брызнул ей в лицо холодной водой из лимонадной бочки, и вода потекла за ворот нового платья. Цыганка на ступеньке синего фургона, должно быть, видела всё это, но не встала.

Её подняли с земли. Она узнала папины руки и запах его сигары, и узнала его голос, хриплый и совсем чужой, которым он кричал Джозефу подавать коляску прямо сюда, через конные ряды, и пусть его штрафуют, сколько им угодно. Коляска качалась и подпрыгивала на ухабах. Голова её лежала у мамы на коленях, мама держала над ней зонтик и шептала что-то, что Ники разбирала через слово. Гнедые шли крупной рысью; Джозеф ни разу ещё не гнал их так по Брод-стрит.

Кулак у неё так и не разжали. Мама пробовала дважды и бросила. А Ники лежала с закрытыми глазами и вспоминала, вспоминала, и ей казалось, что эта дорога вдоль Олентанги никогда не кончится, потому что за каждым поворотом её ждал ещё один год той жизни, и каждый надо было прожить заново, прежде чем коляска остановится у белого дома с башенкой.

Глава 1. Они живы

Когда Ники открыла глаза, над ней был тот же белый потолок с лепной розеткой посередине, из которой ничего не свисало. Солнце, утром лежавшее на нём косыми полосами, ушло на другую сторону дома; значит, было часа четыре, а то и все пять. Пахло уксусом: на лбу у неё лежала сложенная мокрая салфетка, и холодная капля сбежала по виску на подушку. В кулаке у неё был тот самый гранатовый кулон из прошлой жизни. Пальцы так затекли, что разжать их удалось не сразу, и на ладони, там, где врезалось серебро, остался красный след. Она надела цепочку на шею и спрятала кулон под рубашку.

Кто-то тихо всхлипнул рядом. Ники повернула голову.

Мама сидела у кровати в низком кресле, которое принесли из её будуара, всё в том же светлом ярмарочном платье, только без перчаток и без шляпы, и держала в руках носовой платок, скомканный в мокрый комочек. Светлые волосы у неё выбились из причёски, на юбке, у самого подола, серела ярмарочная пыль. Маме было тридцать семь лет. Ронни, когда в неё выстрелил Бриггс, было двадцать восемь, и пятнадцать из них она прожила без мамы. Ники смотрела на неё и не смела моргнуть: ей казалось, что стоит закрыть глаза, и кресло окажется пустым.

— Вероника, — сказала мама и наклонилась к ней. — Дорогая моя, ты меня слышишь?

Вероникой её не называл никто с той осени. Ники рывком села в постели, так что салфетка упала со лба на одеяло, и бросилась маме на шею. Она была вне себя от радости и чуть не задушила её. Она плакала в голос, некрасиво, с икотой, уткнувшись в кружево маминого воротника, и от мамы пахло фиалковым мылом и уксусом, и всё это было так живо, что Ники засмеялась сквозь слёзы. Мама гладила её по спине и повторяла, что всё хорошо, что доктор уже был и уехал, что это всего лишь солнечный удар и что девочкам в такую жару нельзя без шляпы, а шляпа, между прочим, осталась на ярмарке.

«Солнечный удар, — подумала Ники. — Пусть будет солнечный удар».

— Доктор велел лежать до утра, — сказала мама и попробовала уложить её обратно на подушки. — И ничего, кроме бульона. Нора уже греет.

Ники не легла. Она поцеловала маму в мокрую щёку, потом в другую, спустила босые ноги на лоскутный коврик и выбежала из комнаты в одной рубашке, раньше чем мама успела её удержать.

— Вероника! — сказала мама ей вслед. — Ты босиком!

В коридоре было прохладно и полутемно, жалюзи на окнах стояли полуопущенные от солнца, и по ковровой дорожке, по которой Ники бегала каждый день и ни разу её не разглядела, тянулись тёплые жёлтые полосы. Дорожка была турецкая, красная с синим, и у самой лестницы вытерлась до основы.

Вниз по лестнице она спустилась через ступеньку, держась за гладкие перила орехового дерева, и никто ей ничего не сказал.

Из кухни выглянула кухарка с половником в руке, увидела мисс в одной рубашке и всплеснула руками, а поварёнок за её спиной так и застыл с ведром угля. Сверху, по лестнице, уже бежала Нора с шалью.

— Мисс Ники! Матерь божья, да что же это такое! Наденьте хоть шаль, люди же кругом!

Ники позволила закутать себя в шаль, поцеловала Нору в румяную щёку, отчего та совсем потерялась, и толкнула дверь на террасу.

Где же папа?

Папа сидел на верхней ступени террасы, без сюртука, в одном жилете, и курил сигару, хотя мама не позволяла курить на террасе. На перилах рядом с ним стояла чашка с кофе, налитая, должно быть, час назад и нетронутая, и лежали очки. Внизу, на лужайке, Джозеф

водил по кругу двух гнедых рысаков в новых попонах, но папа на них не смотрел. Он смотрел на реку; он нервничал и курил, затягиваясь часто и коротко. Седеющие бакенбарды, которые мама находила старомодными, были у него взлохмачены, будто он весь день тербил их пальцами.

«Значит, всё-таки купил пару», — подумала Ники.

Папе было сорок пять лет. В той жизни ему так и не исполнилось сорок шесть.

Он обернулся на скрип двери. Сигара полетела через перила в траву.

— Ники!

Она бежала к нему через всю террасу, путаясь в Нориной шали, и влетела к нему в объятия так, что он охнул. Ники вцепилась в него обеими руками и разрыдалась навзрыд, взхлёб, так, что не могла вздохнуть. Она плакала и смеялась разом и никак не могла остановиться. Пятнадцать лет она не видела его живым. От папы пахло сигарой и лошадьми. Он растерялся, гладил её по голове, по растрёпанной косе, ругал себя дураком, который потащил жену и ребёнка в такую жару на ярмарку из-за каких-то рысаков, и обещал, что больше никогда в жизни не купит ни одной лошади.

— Ну что ты, что ты, — повторял он. — Всё прошло. Ну-ка, улыбнись папе.

Ники подняла к нему мокрое, распухшее лицо и улыбнулась сквозь слёзы.

— Папочка, я так тебя люблю. Так люблю. И маму тоже.

И опять уткнулась ему в жилет и заплакала.

— Две, — сказала Ники ему в жилет. — Ты купил две лошади, папа. Я видела.

— Одну пару, — ответил папа. — Это совсем другое дело.

Так стояла она, уткнувшись в папин жилет, когда рука её нащупала сквозь рубашку кулон на тонкой цепочке, который она так и не дала с себя снять. И тут ей в подробностях вспомнилось, что сказала ей за месяц до смерти цыганка в таборе за насыпью: «Омой его своей кровью, и второй шанс получишь». Вот как отблагодарила её цыганка за спасение дочери. Ронни тогда не придавала этим словам никакого значения. Этот кулон и был тем самым вторым шансом, о котором говорила цыганка. С ним в кулаке, в своей крови, она умерла на ковре в столовой дома на Лейк-Шор-драйв, а вернулась сюда, в тот день, когда всё ещё можно было исправить. Сегодня на ярмарке та цыганка, Мирела, сказала ей о том же: всех спасти, кого погубила. Слишком много было в той жизни потерь и боли. Теперь она сможет прожить её заново, и прожить по-другому. «Я спасу всех, кого смогу», — подумала Ники.

Она сосчитала дни: Фрэнк приедет в пятницу. Через неделю их убьют.

Глава 2. Кровавая ночь

В последнюю пятницу, которую Ронни прожила в родительском доме, Фрэнк Деланси приехал, как и просил в письме, к обеду, в наёмной коляске из города. Красивая фамилия и пустые карманы — вот всё, что он имел за душой, и с тем и другим он обращался так ловко, что его принимали в лучших домах Коламбуса. Красив он был и в свои сорок два года: чёрные напомаженные волосы, ямочка на подбородке и мягкая улыбка, открывавшая белые зубы. На мизинце у него блестел перстень с тёмным камнем. Пахло от него сигарами и одеколоном. В прихожей он поцеловал маме руку и сказал, что она хорошеет с каждым годом, а папу хлопнул по плечу так, что тот покачулся. Ронни он поднял под мышки и закружил, как маленькую, хотя она была уже почти с него ростом.

Обедали в тот день в столовой, при открытых окнах на реку. Стол накрыли белой скатертью и синим с белым фаянсом, который бабушка Лэнгли привезла когда-то из Филадельфии, и вечернее солнце лежало на серебре длинными жёлтыми полосами. Кухарка испекла яблочный пирог, и Фрэнк, едва войдя, потянул носом и объявил, что ради такого пирога стоило трястись полчаса по пыли. Говорил за столом он один. Он рассказывал о знакомом из Колорадо, нашедшем серебряную жилу у себя под курятником, о новой опере в Цинциннати и о губернаторе, который заснул на открытии моста, и мама смеялась, прикрывая рот салфеткой, а папа хохотал так, что звенели рюмки. Пирога Фрэнк съел два куска и попросил третий.

Маме он сказал, что если бы она не была замужем за его лучшим другом, он сделал бы ей предложение сию же минуту, за десертом. Папа ответил, что стреляться с ним не станет: жалко пороха. Ронни смотрела на Фрэнка во все глаза и думала, что умнее и красивее человека нет во всём Огайо.

После обеда мама играла в гостиной, как играла каждый вечер, и Фрэнк стоял за её стулом и переворачивал ноты. Потом папа увёл его к себе в кабинет, и дверь за ними закрылась. Голоса там были негромкие. Один раз Фрэнк засмеялся, но смех вышел короткий. Спать гостя положили в комнате для гостей, в конце коридора, у лестницы: отпустить человека ночью в город, по тёмной дороге вдоль реки, папа не позволил бы ни за что. Нора постелила свежие простыни, поставила на столик графин с водой и коробку спичек. Мама поцеловала дочь на ночь в лоб и сказала, что дядя Фрэнк обещал завтра покатасть её в коляске.

Ронни в ту ночь не спала. Читать в постели папа ей не позволял: газовый рожок в её комнате он велел провести к туалетному столику, подальше от кровати, чтобы дочь не портила глаза. Поэтому, когда Нора поднялась к себе на чердак и в доме всё стихло, Ронни накинула шаль, взяла свечу и босиком спустилась в библиотеку. Библиотека сообщалась с папиным кабинетом (дверь между ними никогда не запирали), а её стеклянная дверь выходила в холл, прямо на входную дверь и на лестницу. У камина стояло её кресло, большое, кожаное, с протёртыми подлокотниками; в нём она помещалась вся, с ногами. Свечу она поставила на пол, за спинку, чтобы свет не был виден из холла, сняла с полки книгу, недочитанную днём, и раскрыла её на коленях. Этим креслом и ночными книгами, о которых в доме никто не знал, она дорожила больше всего на свете. Часы в гостиной пробили час.

Наверху скрипнула третья ступенька сверху (Ронни, когда бегала по лестнице, всегда её перепрыгивала). Свечу она задула раньше, чем успела подумать. Если это папа, ей достанется и за книгу, и за то, что в час ночи она не в постели. Ронни сползла с кресла на ковёр и притаилась за спинкой. Сквозь стекло ей была видна лестница, и по лестнице, в одном жилете, без сюртука, со свечой в руке, спускался Фрэнк. Внизу он постоял, прислушался и подошёл к входной двери. Лязгнул засов. Лязг этот был ей знаком: Джозеф закладывал засов каждый вечер и отодвигал каждое утро. Ночью его не отодвигали никогда.

Вошли четверо, в тёмных куртках, в шляпах, надвинутых на глаза. У второго был фонарь с задвижкой; у переднего в руке был нож. Из-под лестницы, где была каморка Джозефа, вышел сам Джозеф, в ночной рубашке, с кочергой в руке: засов разбудил и его. Он увидел чужих и открыл рот, чтобы крикнуть. Крикнуть он не успел. Передний шагнул к нему, схватил его за волосы и провёл ножом по горлу, быстро и спокойно. Кочерга звякнула о паркет. Джозеф сел на пол у стены, держась за шею обеими руками, и больше не поднялся. Фрэнк отвернулся. Ронни видела всё это сквозь стекло, шагов с двадцати, и не дышала. Джозеф служил у них, сколько она себя помнила.

Что это? Зачем дядя Фрэнк впустил ночью чужих? Почему Джозеф сидит на полу и не встаёт? Ронни смотрела на тёмное пятно, которое расплзлось у него по ночной рубашке, и не могла взять в толк, что видит; она знала только, что случилось что-то страшное и что поправить этого уже нельзя. Она оцепенела и долго не могла пошевелиться. Горло у неё было сухое и тесное, и звук из него не шёл; пальцы вцепились в ковёр так, что наутро на них остались красные нитки ворса.

Потом, всю жизнь, она думала об этой минуте. Если бы она закричала тогда, проснулись бы папа и мама, проснулся бы весь дом. Может быть, папа успел бы запереть дверь спальни; может быть, нет. Ронни возвращалась к этой ночи снова и снова, и всякий раз выходило одно и то же: она промолчала. Из всего, что она сделала за двадцать восемь лет, себе она не простила только этого молчания.

Наверх они пошли за Фрэнком, и третья ступенька скрипнула под каждым. Потом закричала мама. Так она не кричала никогда в жизни. Папа крикнул: «Фрэнк?» — громко, удивлённо, тем голосом, каким спрашивают, не случилось ли чего; опрокинулся стул, и что-то тяжёлое упало на пол. Крики оборвались. Ронни лежала за креслом, зажимая рот обеими руками. Кричать было нельзя: тогда они пришли бы и сюда.

Потом наверху захлопали двери. Двое поднялись выше, на чердак, где спали Нора и кухарка, и скоро спустились; оттуда никто не крикнул. Третий ушёл через кухню во двор, к конюшне, где ночевали Джозеф и поварёнок, и вернулся один.

— Где девчонка? — спросил чужой голос.

Распахнули дверь её комнаты, потом гостевой, потом классной.

— Нет её. Постель холодная.

— Ищите, — сказал Фрэнк. Голос у него был сиплый, чужой. — Она в доме.

По лестнице затопали вниз. Ронни заползла под диван у стены, в пыль, куда горничные не заглядывали, и легла на живот. Дверь библиотеки открылась. Свет фонаря прошёл по полкам, по креслу, по ковру и остановился на свече, которая лежала на полу за креслом. Сапоги подошли к самому дивану, грязные, с налипшей травой; она видела их у своего лица.

— Свечка, — сказал голос. — Тут она сидела. Тёплая ещё.

Сапоги постояли и ушли в кабинет. Там Фрэнк уже гремел папиными ключами (он взял их наверху, из жилета, который папа на ночь вешал на спинку кровати), и железная дверца сейфа тяжело отошла. Чего ждать? Пока они вернутся с фонарём и заглянут под диван? Ронни выползла и на четвереньках, по ковру, потом по холодному полу коридора, мимо кухни, добралась до бельевой у чёрного хода. Между шкафом с простынями и стеной там была щель, куда взрослый не пролез бы и боком. Ронни забилась в неё, стянула на себя простыню с нижней полки и затихла. Пахло крахмалом и лавандой.

Её искали ещё долго. Дважды кто-то заглядывал в бельевую, один раз с фонарём, и свет прошёл по простыням в верхушку от её лица. Потом в кабинете хлопнула железная дверца, и Фрэнк сказал: «Уходим. Что она поймёт». Внизу снова лягнул засов, по аллее под окнами прошуршали шаги, и в доме стало так тихо, как не бывало никогда, даже днём, когда все уезжали в город.

Так она просидела до рассвета. Ноги у неё затекли, а руку ото рта она так и не отняла. Когда в щели под дверью посерело, Ронни всё ещё сидела там и слушала тишину.

Глава 2. Утро. Расспросы

Ники не спала. Доктор велел лежать до утра, и она лежала на спине, сложив руки поверх одеяла, и слушала дом. Мама дважды приходила со свечой, останавливалась на пороге и слушала, ровно ли дышит дочь; Ники дышала ровно, и мама уходила. Потом внизу Нора погасила лампы, ступени поскрипели под её башмаками до самого чердака, и в доме всё стихло. Луны не было. В открытую фрамугу тянуло рекой и скошенной травой с лужайки, на потолке смутно белела лепная розетка, а кулон, который она так и не дала снять, лежал у неё на груди, под рубашкой, тёплый от её тела. За рекой, на ферме с красной крышей, долго лаяла собака и наконец замолчала. Часы в гостиной пробили одиннадцать, потом двенадцать. «Неделя, — подумала Ники. — Уже меньше недели».

Под утро за окном посерело. Ники лежала, сжав гранат в кулаке так, что серебро врезалось в ладонь, и считала. Ярмарка была сегодня — нет, уже вчера, часы давно пробили полночь. Тогда Фрэнк приехал в пятницу, к обеду; значит, у неё шесть дней. Лиц тех четверых она не помнила ни одного. Она помнила только нож и фонарь с задвижкой. Кому в этом доме она расскажет про нож? Кто поверит девочке, которой вчера на ярмарке напекло голову? Она встала, накинула шаль, вышла в коридор и постояла у двери родительской спальни. За дверью папа храпел, негромко и ровно, как храпел всю жизнь, а мама что-то сказала во сне. Ники вернулась к себе и легла.

Нора пришла в седьмом часу, с медным кувшином горячей воды и полотенцами через плечо, и застала мисс у окна, в шали поверх ночной рубашки. Над Олентанги лежал туман, как и вчера утром. Ивы у пруда стояли в нём по колено, а на том берегу невидимые коровы звенели колокольчиками, и звон шёл по воде далеко. Нора всплеснула руками и сказала, что доктор велел лежать до утра, а мисс, видно, решила, что утро наступает в пять. Потом Нора погнала её к умывальнику. Ники умылась тёплой водой и села к зеркалу. Вид у неё был такой, будто она всю ночь не смыкала глаз, да так оно и было: веки припухли, под глазами легла синева, губы побледнели. Нора распускала ей косу и ворчала, что после солнечного удара у всех такие лица, а у мисс ещё ничего, бывает и хуже.

Щётка ходила по волосам сто раз, как полагалось, и Ники считала взмахи и думала о своём. Сказать папе? Но что сказать? Что Фрэнк Деланси, его лучший друг, приведёт в пятницу ночью четверых с ножами? Что ей это приснилось? Папа пощупает ей лоб и пошлёт Джозефа за доктором, а мама не отойдёт от её кровати до самого воскресенья: после обморока на ярмарке, в этом доме получают бульон и бромистые капли, больше ничего. Восемьдесят девять, девяносто. Ники посмотрела в зеркало на своё припухшее детское лицо и подумала: «Значит, молчать. И спрашивать».

Мама ещё спала: доктор оставил ей капель, и папа велел не будить её до девяти. Папа позавтракал один, наскоро, и ушёл к себе в кабинет. Туда Ники и спустилась, в домашнем платье, с косой, перевязанной вчерашней голубой лентой.

Кабинет был в конце коридора первого этажа, окнами на реку. Там стояли письменный стол красного дерева, обитое кожей кресло и этажерка с газетами, а по стенам тянулись полки с конторскими книгами в мраморных переплётках. Над камином висела гравюра с видом Цинциннати. На столе, рядом с чернильным прибором, лежало пресс-папье в виде бронзового быка: папа привёз его когда-то из Чикаго и очень им гордился. Пахло сигарами, кожей и сургучом. В углу, за креслом, стоял нескороаемый шкаф, зелёный, Ники по плечо, с медной ручкой и медной табличкой фабрики в Цинциннати. Ники видела его каждый день и ни разу о нём не думала.

Папа сидел за столом без сюртука, в жилете, и писал. Часовая цепочка поблёскивала у него на животе, а в другом кармане жилета оттопыривалась связка ключей. Он поднял на дочь глаза поверх очков.

— Это кто же тебе позволил встать? Доктор сказал, до утра.

— Уже утро, папа. Семь часов.

— Строго говоря, да, — согласился он и засмеялся. — Иди сюда, ярмарочная барышня. Как голова?

Она подошла и поцеловала его в щёку, колючую, пахнущую мылом для бритья. Он обнял её одной рукой, не выпуская пера, и через его плечо она увидела лист почтовой бумаги с монограммой. «Дорогой Фрэнк», — стояло наверху его крупным, с наклоном, почерком. Ники взяла со стола бронзового быка и стала вертеть его в пальцах, как вертела всегда, когда заходила сюда.

— Ты пишешь дяде Фрэнку?

— Ему самому. Он просит принять его, и я отвечаю, что примем, — сказал папа и обмакнул перо. — Мама будет рада: она без него скучает.

— А когда он приедет?

— В будущую пятницу, к обеду, если нам удобно. Нам удобно. А тебе что, не терпится? Он опять привезёт тебе мятных леденцов, и ты опять скажешь, что ты уже большая для леденцов, а потом съешь их все до одного.

Ники засмеялась, как засмеялась бы вчера утром. Пятница. Сегодня суббота; до пятницы шесть дней, а та ночь — с пятницы на субботу. Ей вспомнилось, что тогда он тоже приехал в пятницу, в наёмной коляске, и пыль на его лаковых ботинках мама велела Норе стереть в прихожей, прежде чем он пройдёт в столовую.

— А обратно он поедет вечером? Ночью по дороге вдоль реки темно.

— Обратно? — Папа удивился. — Кто же отпустит человека ночью, по такой дороге? Переночует у нас, как всегда. Нора постелет ему в комнате для гостей, а утром Джозеф отвезёт его в город.

Комната для гостей, в конце коридора, у лестницы. Она поставила быка на место, рогами к чернильнице, как он стоял.

— Папа, а какое у дяди Фрэнка дело? Он писал, что серьёзное.

Папа перестал писать. Он снял очки, протёр их платком и надел снова; потом пощипал бакенбарды на левой щеке и посмотрел в окно, на реку.

— У дяди Фрэнка все дела серьёзные, дочка, — сказал он наконец. — Это дела взрослых, и тебе о них думать не нужно.

— Он опять попросит займы. Ты сам говорил маме.

— Я много чего говорю маме за завтраком, — сказал папа и покачал головой, но без всякой строгости. — Не повторяй всего, что слышишь, Ники. Фрэнк — старый друг. Если ему трудно, мы ему поможем. В этом доме так заведено.

«В этом доме так заведено», — повторила про себя Ронни. Ключи от зелёного шкафа папа носил в жилетном кармане, а жилет на ночь вешал на спинку кровати; через шесть дней Фрэнк снимет их оттуда сам. Ники посмотрела на медную ручку несгораемого шкафа и спросила тем голосом, каким дети спрашивают о чём угодно, лишь бы не уходить:

— А много у тебя в сейфе денег, папа?

Папа расхохотался так, что очки сползли у него на кончик носа.

— Вот это вопрос для юной леди! Мама бы тебя за него отчитала. — Он отсмеялся и вытер глаза. — Достаточно, чтобы купить пару кентуккийских рысаков, и ещё останется на леденцы. Беги-ка наверх, пока она не проснулась и не увидела, что ты бродишь по дому босиком.

На ней были домашние туфли, но спорить она не стала. Ключи лежали в жилетном кармане. Значит, в этой жизни ничего ещё не сдвинулось.

У двери она обернулась. Папа дописал письмо, промокнул его, сложил вдвое и вложил в конверт, заклеил, надписал адрес и наклеил трёхцентовую марку. Он позвонил, и в дверях появился Джозеф, уже в сапогах и в кучерской шляпе: по утрам он ездил в город на почту.

— Отправишь, — сказал папа и протянул ему конверт. — И спроси, нет ли чего из Чикаго.

Джозеф взял письмо и вышел. Ники слышала, как простучали по коридору его сапоги и хлопнула дверь на заднее крыльцо, и через минуту по аллее под окнами покатила двуколка.

— Папа, — сказала она. — Можно, я как-нибудь поеду с Джозефом на почту?

— Можно, — сказал папа, не поднимая головы от конторской книги. — Когда мама разрешит.

Глава 2. Город. Том. Слежка

Шляпа с матерчатыми васильками так и осталась на ярмарке, и в понедельник мама решила, что ехать в город за новой придётся непременно: в воскресенье, в церкви, все смотрели на Ники в старой летней шляпке, из которой она выросла ещё весной. Доктор, заехавший в воскресенье после обеда, нашёл девочку здоровой и позволил ей прогулку в закрытой коляске, если не будет солнца. Солнца не было. С утра небо затянуло ровной серой пеленой, с реки тянуло сыростью, и Джозеф поднял над коляской кожаный верх.

До города ехали полчаса, той же дорогой, что и в пятницу, вдоль Олентанги, мимо кукурузных полей. Фургонов было мало: ярмарка кончилась, и фермеры разъехались по своим округам. Мама сидела прямо, держа на коленях ридикюль, и говорила, что шляпу возьмут в большом магазине на Хай-стрит, с лентой, и что на этот раз Ники будет держать её обеими руками. Ники слушала и смотрела в окно. Был понедельник, и до пятницы оставалось четыре дня. Кому сказать то, чего нельзя сказать папе? Норе, которая в ту же минуту побежит к маме? Доктору, который запишет в книжечку, что у девочки после солнечного удара бывают кошмары, и пропишет бром? Девочку в голубом платье, которая придёт в полицейский участок одна, отведут домой за руку и сдадут матери, а мать уложит её в постель до Рождества. Ники вздохнула и стала смотреть на телеграфные столбы.

Хай-стрит в понедельник была полна. Улица эта, прямая и широкая, тянулась с юга на север через весь город, и по обе стороны её стояли кирпичные дома в три и четыре этажа с вывесками во весь фасад: мануфактура, скобяные товары, аптека, фотография, «Устрицы во всякое время». Огромные зеркальные витрины сверкали чистотой. Шумные подводы с кладью наводняли мостовую, посередине звенели вагоны конки, и лошади, тащившие их, шли понурив головы. На углу, у здания суда, мальчишки выкрикивали «Диспэтч». Дальше к северу, над крышами, поднимался дым вокзала, и оттуда долетали свистки паровозов. Джозеф остановил гнедых у тротуара, напротив большого магазина, в окнах которого сидели шляпки на деревянных болванках, и спрыгнул с козел.

Мама вышла первой, Ники за ней; она остановилась на тротуаре, оглядывая улицу, и увидела его.

Он шёл по другой стороне Хай-стрит, к северу, в сторону вокзала, на голову выше всех прохожих, в старой армейской шинели, накинутой на плечи, хотя день был тёплый. Шёл он тяжело и прямо, не глядя по сторонам, и люди сами уступали ему дорогу. Это был Томас Каллахан, ирландец, ветеран войны. Месяц назад он приехал в Коламбус к жене и дочери и не застал их в живых. Рыжая борода у него была ещё почти без седины, а шрам через левую бровь Ники разглядела даже отсюда.

«Том, — подумала она. — Господи, Том».

Через полтора года, на улице этого же города, он наклонится над ней и спросит, давно ли она ела; борода у него тогда будет рыжевато-седая, а шинель ещё старше. Теперь, если только всё сделать как следует, он один мог помочь папе с мамой. Ники стояла и смотрела ему вслед, пока мама не тронула её за рукав.

— Вероника, ты идёшь?

— Иду, мама.

Магазин был большой и светлый, с длинными прилавками полированного дерева и с зеркалами в простенках. Пахло новой тканью, крахмалом и пудрой. Прикащик в чёрном сюртуке поклонился миссис Лэнгли и повёл их в шляпное отделение, где шляпы лежали на полках в круглых коробках и сидели на деревянных головах с нарисованными глазами, соломенные и фетровые, с перьями и лентами. Ники примерила три, и мама выбрала четвёртую, из итальянской соломки, с голубой лентой, за четыре доллара двадцать пять центов.

Пока приказчик заворачивал шляпу, в отделение вошла дама в лиловом, с дочерью постарше Ники, и мама обрадовалась: они вместе сидели в дамском комитете при церкви. Дамы поцеловались, сели на плюшевый диванчик у зеркала и заговорили о ярмарке, о солнечном ударе, о новом пасторе и о том, что в этом году все носят коричневое. Такие разговоры длились не меньше получаса. Ники тронула маму за рукав.

— Мама, можно, я подожду у окна? Там, у входа, краски в витрине.

— Только не выходи на улицу, — сказала мама, не оборачиваясь. — И не трогай ничего руками.

Ники прошла в первый зал, мимо прилавков с лентами, к входной двери, постояла у витрины, где лежали альбомы для марок и коробки с акварельными красками, и посмотрела на улицу. Джозеф стоял у морды гнедых и задавал им овса из торбы, спиной к магазину. Высокая фигура в шинели ещё виднелась, кварталах в двух к северу. «Полчаса, — подумала Ники. — Нет, двадцать минут, не больше». Она толкнула дверь, и над ней звякнул колокольчик. Джозеф не обернулся.

Она пошла за Томом следом по своей стороне улицы, не прибавляя шагу, как ходят девочки, которых послали в аптеку за мятными каплями. Держаться на полквартила сзади, отставать у витрин, переходить улицу, когда человек оглядывается, — всему этому её выучил когда-то сам Том, на задворках Коламбуса и Цинциннати. Том не оглянулся ни разу. Он прошёл мимо банка, мимо гостиницы с колоннами, где на ступенях курили коммивояжёры, мимо салуна, из открытой двери которого пахло пивом и опилками, и у вокзала свернул направо, под железнодорожный мост.

За мостом город кончился сразу. Мостовой здесь не было, и вдоль немощёной улицы тянулись склады, угольные дворы и деревянные дома в два этажа, с наружными лестницами. Некрашеную их обшивку сажа и дожди сделали одного цвета с угольными кучами. На верёвках висело бельё, пахло углём и помоями, у забора рылась в куче золы свинья, а босой мальчишка в отцовском жилете проводил Ники долгим взглядом: девочек в голубых платьях здесь не видели. Ники шла не торопясь, придерживая юбку, чтобы не замарать подол, и не сводила глаз с серой шинели впереди. Так дошла она за ним до третьего дома от угла и увидела, как он поднялся по наружной лестнице и скрылся за дверью, которая так и осталась висеть на одной петле.

На доме была вывеска, написанная краской прямо по доскам: «Комнаты. Стол. Койка — 25 центов в ночь». Под вывеской, на крыльце, сидела толстая женщина в переднике и лущила бобы в миску. Мамина новая шляпа стоила семнадцать таких ночей — Ронни сосчитала это машинально, ещё не дойдя до угла. Потом она прочла название улицы на столбе, посчитала дома от угла ещё раз и запомнила всё: мост, угольный двор, свинья у забора, дверь на одной петле. «Вот ты где, — подумала она. — Ну, теперь не потеряешься».

Обратно она почти бежала. Под мостом прогрохотал товарный поезд, и сверху посыпалась сажа, а у гостиницы коммивояжёры посмотрели ей вслед и засмеялись. Колокольчик над дверью магазина звякнул так же, как и двадцать минут назад. Ники встала у витрины с акварельными красками и перевела дух.

Мама вышла из шляпного отделения минут через пять, под руку со своей знакомой, весёлая, с румянцем на щеках. Приказчик нёс за ней круглую коробку.

— Вот видишь, я же говорила, что недолго, — сказала мама. — Ты не скучала, дорогая?

— Нет, мама. Я смотрела краски.

Мама посмотрела на неё внимательнее и нахмурилась.

— У тебя сажа на щеке. Где ты могла так испачкаться, стоя у окна?

— Здесь всё в саже, мама, — сказала Ники. — Вокзал близко.

Мама достала платок, вытерла ей щёку, поправила воротничок и пошла к коляске. Джозеф уже держал дверцу. Ники села рядом с мамой, взяла на колени коробку со шляпой обеими руками, как обещала.

Глава 2. Могилы

Во вторник мама разрешила. Новых рысаков мистер Хендерсон продал на ярмарке в старой упряжи, и папа велел Джозефу заказать у шорника на Таун-стрит две новые сбруи, с медным набором, а заодно заехать на почту. Ники выпросилась с ним. Мама поцеловала её, велела не снимать новую шляпу ни на минуту и сказала Джозефу, что за мисс он отвечает головой. Джозеф сказал: «Да, мэм», — и посадил мисс рядом с собой на козлы двуколки, потому что сзади лежали старые сбруи, завёрнутые в мешковину.

Мастерская шорника была тесная, пропахшая дёгтем и кожей. По стенам висели хомуты, вожжи и сёдла, а сам шорник, старый немец в кожаном фартуке, разложил на прилавке медные бляхи и стал показывать их Джозефу по одной. Подогнать сбрую по гнедым он обещал к полудню, не раньше. Джозеф сел ждать на скамью у двери и торговался медленно, со вкусом, как торгуются люди, которым хозяин велел купить хорошо и цены не жалеть. Ники посидела рядом минут пять, потом сказала, что сходит в кондитерскую и в книжную лавку на Хай-стрит и вернётся к полудню. Джозеф поглядел на неё, на часы над прилавком и снова на неё.

— К полудню, мисс, — сказал он. — Ни минутой позже. Мне за вас голову снимут.

До вокзала было двенадцать минут ходу, до железнодорожного моста ещё три. Под мостом опять прогрохотал поезд, опять посыпалась сажа, и она прикрыла шляпу рукой. Вывеска «Комнаты. Стол. Койка — 25 центов в ночь» была на месте, и толстая женщина в переднике сидела на крыльце, как и в понедельник, только теперь у неё на коленях вместо бобов лежало чьё-то бельё, которое она чинила.

— Мне нужен мистер Каллахан, — сказала Ники. — Большой, в шинели.

Женщина оглядела её с головы до ног, от шляпы с голубой лентой до ботинок на пуговицах.

— Том? Наверху он. Только на что он такой барышне? — Она подняла голову и крикнула на лестницу: — Том! К тебе пришли! — И прибавила, понизив голос: — Он не буйный, ты не бойся. Он больше молчит.

Дверь на одной петле скрипнула, и на верхней площадке наружной лестницы показался Том. Он был без шинели, в рубашке с закатанными рукавами, небритый, и от него пахло виски, хотя был ещё только одиннадцатый час. Он посмотрел вниз, на девочку в соломенной шляпе.

— Чего тебе, девочка?

Всё, что она скажет ему, Ронни обдумала ещё в понедельник вечером, лёжа в постели. Сначала надо было показать ему могилы, а говорить потом. Ники подошла к самой лестнице и подняла к нему лицо.

— Мистер Каллахан, я знаю, где похоронены ваша жена и дочь.

Том взялся за перила. Лицо у него сделалось серое, и шрам на левой брови выступил белой полосой.

— Кто тебе сказал?

— Пойдёмте, я покажу. Потом спросите, что хотите.

Он постоял, глядя на неё сверху вниз, и ушёл в дом. Когда он спустился, шинель была у него на плечах, а бороду он пригладил пятернёй. Хозяйка проводила их глазами до самого угла.

У вокзала, вдоль тротуара, стояли извозчики. В кошельке у Ники было три доллара серебром, оставшиеся от ярмарки, и она сама договорилась с первым из них, стариком в клеёнчатом цилиндре, за полдоллара туда и обратно. Том молчал. Извозчик посмотрел на девочку в голубом платье, потом на великана в армейской шинели, сплюнул и ничего не спросил. Ехали минут двадцать, по улицам, где дома становились всё ниже, мимо огородов и пустырей. Том сидел, положив на колени свои большие руки, и смотрел перед собой. Ники смотрела на эти руки. Она отвернулась к окну.

Кладбище лежало за городом, на пологом холме, за чугунной оградой. От ворот вверх шли аллеи, обсаженные клёнами, и по обе стороны их стояли гранитные обелиски, мраморные ангелы с опущенными крыльями и семейные склепы с железными дверцами — всё это помещалось за чугунными цепями, на участках, купленных навечно. Ники повела Тома мимо всего этого, по боковой дорожке, к дальнему краю холма, где ограда была уже деревянная и кое-где повалилась. Ничего примечательного в этом углу не было. Он выглядел дешёвым и неприглядным: обычное место, где округ хоронил на свой счёт тех, за кого некому было заплатить. Ни камней, ни крестов здесь не ставили. Над холмиками, заросшими сорной травой, торчали из земли низкие крашенные колышки с номерами, и краска на многих уже облупилась.

Ники пошла вдоль ограды, считая ряды. Это место они нашли тогда, в восемьдесят втором году. Две недели они обходили кладбища округа, и Том у каждого ворот спрашивал сторожа про камень с фамилией Каллахан; только здесь старик-сторож открыл свою книгу, полюбил палец и нашёл в ней два номера. Камня Том искал напрасно. Камень с именем стоил бы у гранильщика долларов пятнадцать. Ники остановилась у двух колышков, стоявших рядом, большого и маленького.

— Здесь, — сказала она.

Том снял шляпу. Долго он стоял над колышками, держа шляпу в обеих руках, и смотрел на них, будто читал. Потом опустился на колени прямо в сорную траву, тяжело, сначала на одно колено, потом на другое, положил широкую ладонь на холмик, который был поменьше, и перекрестился. Он сказал что-то по-ирландски, несколько слов, она не разобрала каких. Плечи у него затряслись. Плакал он беззвучно, не закрывая лица, и слёзы скатывались ему в бороду.

Ники увидела, как трясутся у него плечи, и расплакалась сама, громко, по-детски, и никак не могла перестать. Плакала она о тех двоих, которых никогда не видела, и о себе самой на ковре у озера. Голова Тома, стоявшего на коленях, пришлась ей как раз под руку. Ники положила на неё ладонь и стала гладить его по жёстким рыжим волосам, как он гладил её тогда, почти в пятнадцать, в чужом дворе, на ящике из-под пива.

— Не надо, мистер Каллахан, — говорила она сквозь слёзы. — Не надо. Они же тут, вы их нашли.

Над холмом пролетела ворона и села на поваленную ограду. Где-то внизу, у ворот, сторож стучал молотком. Так они пробыли у колышков с четверть часа. Потом Том вытер лицо рукавом шинели, поднялся, отряхнул колени и надел шляпу. Он посмотрел на неё долго.

— Кто ты такая, девочка?

Глава 2. Вещий сон. Том у О'Рурка

— Вероника Лэнгли, — сказала Ники. — С Олентанги, из белого дома с башенкой.

Том ничего не ответил, и они спустились с холма по боковой дорожке, прошли мимо мраморных ангелов и вышли за чугунные ворота. Извозчик дремал на козлах, надвинув цилиндр на глаза, и лошадь его щипала траву у ограды. Под клёном у ворот стояла скамья для тех, кто приходил к могилам пешком, и Ники села на неё. Том остался стоять. Всей правды говорить было нельзя: Том счёл бы её бредом и ушёл бы к своему виски, под мост. Но в вещие сны он верил с детства. В той жизни Том не раз рассказывал Ронни про свою бабуку, которая видела вещие сны.

— Мистер Каллахан, — сказала Ники. — Я вижу сны. Такие, какие видела ваша бабушка.

Том повернулся к ней. Рука его, лежавшая на ограде, перестала двигаться.

— Вы мне снились, — продолжала Ники. — Я знаю про вас много. Вы ирландец, вы были на войне. Ваша бабушка видела во сне то, что потом сбывалось, и вы, когда говорите о ней, креститесь. Месяц назад вы приехали в Коламбус, к жене и дочке, и не застали их в живых. Вы обошли все кладбища округа и у каждого ворот спрашивали про камень. Камня нет. Мне это приснилось, и я вам показала.

Он долго смотрел на неё, потом медленно, тяжело перекрестился и сказал что-то по-ирландски. Ники ждала. Рука его лежала на ограде неподвижно.

— Святой Патрик, — сказал Том наконец. — Бабке моей тоже никто не верил, пока не сбывалось. Ну, говори. Раз начала.

— Мне приснилось, что нас убьют, — сказала Ники. — Папу и маму. Убьёт друг нашей семьи, Фрэнк Деланси. В пятницу он приедет к обеду и останется ночевать, а ночью откроет дверь, и придут ещё четверо, с ножами. Я видела это так ясно, как вижу вас. Я боюсь, мистер Каллахан. Помогите нам.

— А твой отец знает, что ты мне сейчас рассказала?

— Папа не поверит. В пятницу у меня был солнечный удар. Он пошлёт за доктором.

Том потёр небритую щёку ладонью, широкой, в старых мозолях, и посмотрел на дорогу, по которой они приехали.

— Что же мы с тобой можем сделать?

«Мы», — повторила про себя Ронни. Она сложила руки на коленях и заговорила медленно, чтобы он запомнил каждое слово.

— Вам надо пойти в полицию и сказать, что вы подслушали разговор его подельников: они собираются нас ограбить. Будто в салуне у вокзала двое говорили между собой, что в пятницу ночью берут дом Лэнгли на Олентанги, а наводчик у них — Деланси, и он сам откроет им дверь. Про сон не говорите, иначе вас не станут слушать. Идите к О'Рурку. Патрик О'Рурк, рыжий, круглолицый, служит в участке на Стейт-стрит. Он человек честный и поверит.

— Ирландец, говоришь?

— Ирландец, — сказала Ники.

Том кивнул. Потом посмотрел на неё внимательнее и в первый раз за всё утро прищурился.

— А ты откуда знаешь О'Рурка?

— Он мне тоже снился, в том же сне.

Извозчик проснулся, когда Том тронул его за колено, и повёз их обратно в город, на Стейт-стрит. Ники считала: без четверти двенадцать, если судить по солнцу, а шорник обещал к полудню. Джозеф подождёт, побранится и подождёт ещё. Участок помещался в кирпичном доме, с медной доской у входа и с двумя полисменами в синих мундирах на крыльце. Ники вышла из пролётки на противоположной стороне улицы и встала под навесом аптеки, у вит-

рины с цветными бутылками. Том поднялся по ступеням, снял шляпу перед полисменами и вошёл. Дверь за ним закрылась.

В бутылках за стеклом стояла зелёная и красная вода, и в них отражалась вся улица, кривая и маленькая. Прошла минута, потом другая. Что, если О'Рурка нет в участке? Что, если в этой жизни он служит где-нибудь в Цинциннати? Нет, он здесь: тогда он вёл их дело, и вёл его отсюда, из этого самого дома. Ники расстегнула и снова застегнула пуговицу на перчатке.

Том вышел минут через двадцать. Он спустился по ступеням, надел шляпу и, не глядя по сторонам, перешёл улицу прямо между двумя фургонами, так что возчик выругался ему вслед, и встал перед ней.

— Долго он меня спрашивал, — сказал он. — Кто такие, в каком салуне, какие из себя. Записывал и смотрел на меня, как на пьяного, а про Деланси переспросил два раза. Не то чтобы сразу поверил. — Том помолчал. — Потом сказал: «Хорошо, давай поставим засаду». В пятницу. Велел мне быть с ним.

Ники закрыла глаза и открыла их снова.

— Спасибо, Том, — сказала она.

Том помолчал: по имени она назвала его в первый раз.

— Ради них пойду, — сказал он и кивнул в ту сторону, где за городом лежал холм с кленовыми аллеями. — Ступай домой, Вероника Лэнгли. Тебя хватятся.

Пролётка довезла её до угла Таун-стрит. Часы над прилавком у шорника показывали половину первого, и Джозеф стоял у двуколки с новыми сбруями под мышкой и вертел головой во все стороны. Увидев мисс, он выдохнул так, что было слышно через улицу.

— Кондитерская, мисс, — сказал он с укором, — она вон где. А вы откуда?

— Там не было мятных леденцов, — сказала Ники и полезла на козлы. — Я искала в другой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.